



Виктор

Кривулин



БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
ПОЭТА

КРЮКОВ
ВИКТОР
ТИМ

СТИХИ

П А Р И Ж
1981.

ПОКОЛЕНИЕ « ТАЙНОЙ СВОБОДЫ »

(Вместо предисловия)

Пушкин, тайную свободу
Пели мы вослед тебе,
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.

Так писал Блок в последнем своем стихотворении. Под этот эпитаф сходитя все новое поколение русских — и прежде всего питерских поэтов. О питерских я говорю особо, — так уж сложилось в русской поэзии, что даже множество поэтических имен Москвы и других городов, при всем их литературном значении — все же *отдельные* имена, а питерские поэты как бы соединены — нет, нет, не в группу, не в течение — в единый *литературный процесс*. Так уж исторически, традиционно вышло, что « нам целый мир чужбина, отечество нам — Царское Село ».

Я не верю в серьезность « групп », « направлений » и т. п. — особенно заявляющих о себе манифестами, громкими или тихими: поэтическая личность — индивидуалистична уже по самому своему определению. Можно отмечать лишь горизонтальное разделение — по поколениям. В этом смысле реальность — период, который принято

называть « оттепелью » и которому я некогда дал условное название « медный век » (не только по аналогии с золотым пушкинским и серебряным « веками », но и в силу ораторского звучания, преобладающего у поэтов моего поколения).

Медный век выскочил как чертик из табакерки, готовым, ибо поэты его созрели подспудно еще в самые мрачные для всей русской литературы годы. Захват залов и площадей, рокот гитар Галича и Окуджавы, ораторский стиль — (иные говорят « эстрадный ») — Вознесенского, Борисовой, Матвеевой, Сосноры... раннего (еще не ренегатского!) Евтушенко... Исторические параллели — не только как способ надуть цензуру, но прежде всего как попытка найти свои корни — в этом смысле важно творчество того же Сосноры и Николая Рубцова — форма стиха прежде всего звучащего — вот краткая характеристика того периода. И еще одно — в силу времени поэты « медного века » почти все вышли в печать.

Чем же новые поэты отличаются от нас? Обращенностью к узкому кругу читателей? Большею интимностью интонаций? Не державинским, а тютчевским духом? Все это так, но гражданственность не утратилась, она ушла в многослойность и многозначность метафоры, утратив вид нашей резкой парадоксальной формулы. Если говорить о литературных предках — за нами стояли Блок, Волошин, Гумилев, Цветаева. За новыми — Мандельштам по метафоричности и Ахматова по ин-

ности интонаций. Пастернак по сюрреалистичности видения. Мост к истокам, создаваемый поэмами, менее конструктивен, но более сложен по силуэту. Стремление схватить мгновенный образ, который грозит исчезнуть — вот что для них важнее всего. И вместо эпохи надежд — хотя и кривых — эпоха «тайной свободы» «Дух культуры подпольной — как раннеапостольский свет».

Эта строчка Виктора Кривулина — почти девиз нового поколения, «непечатного»



Нетленны лишь чувства — все прочее прах вот его философия. И мучительно стремление Кривулина заполнить собой пропасть между нашими днями и искусственно прерванной традицией; образность выстроенная по типу «матрешки»: одна метафора скрыта внутри другой.

«Друзья, друзья обращаются в пыль — Церковь — луковка — плач...» пламя свечи сравнивалось с луковкой — и вот образ в образе: церковь, луковка церковная и просто луковица. Пламя свечи — жизнь человека. Свет. Форма пламени — луковица — луковка, плач вызывающая... Луковка — церковный купол... все это несет мысль о друзьях, уходящих в небытие... Человек у Кривулина (то же, отчасти касается и других поэтов «тайной свободы») распят меж-

ду необходимостью сохранить личность и не порвать связей с другими. Свободу воли надо таить. Сопротивление личности двум крайностям и есть та натянутая струна, звук которой — существование, дыхание, Дух — то есть поэзия.

Василий Бетаки



Пью вино архаизмов. О солнце, горевшем когда-то
говорит заплетаясь и бредит язык.
До сих пор на губах моих – красная пена заката,
всюду – отблески зарева, языки сожигаемых книг.
Гибнет каждое слово, но весело гибнет, крылато
отлетая в объятия Логоса – брата,
от какого огонь изгоняемой жизни возник.

Гибнет каждое слово!
В рощах библиотек
опьянение бывшего
тяжелит мои веки.
Кто сказал: катакомбы?
В пивные бредем и аптеки!
И подпольные судьбы
черны, как подземные реки,
маслянисты, как нефть. Окунуть бы
в эту жидкость тебя, человек,
опочивший в гуманнейшем веке!

Как бы он осветился, покрывшись пернатым огнем!
Пью вино архаизмов. Горю от стыда над страницей:

ино-странница мысль развлекается в мире ином,
иногда оживляя собой отрешенные лица.
До бесчувствия – стыдно сказать – умудряюсь напиться
мертвой буквой ума – до потери в сознание моем
семигранных сверкающих призм очевидца!

В близоруком тумане
в предутренней дымке утрат –
винный камень строений
и заспанных глаз виноград.
Труд похмелья. Похмелье труда.
Угол зрения зыбок и стал переменчив.
Искажающей линзой речи
Расплющены сны-города.
Что касается готики – нечем,
нечем видеть пока что ее,
раз утрачена где-то вражда
между светом и тьмою.
Наркотическое забытье
называется, кажется, мною!

Дух культуры подпольной, как раннеапостольский свет,
брезжит в окнах, из черных клубится подвалов.
Лью вино архаизмов. Торчу на пирах запоздалых,
но еще впереди, я надеюсь, я верую... Нет:
я хотел бы уверовать в пепел хотя бы, в провалы,
что останутся после – единственный след
от погасшего слова, какое во мне полыхало!

Гибнет голос – живет отголосок.
Щипцы вырывают язык,
он дымится на мокром помосте из досок,
к сапогам, распластавшись, прилип.
Он шевелится мертвый, он пьян
ощущением собственной крови...
Пью вино архаизмов, пьянящее внове,
отдающее оцетом оцепенелой любви,
воскрешением ран!



КРЫСА

Но то, что совестью зовем, -
Не крыса ль с красными глазами?
Не крыса ль с красными глазами,
тайком следящая за нами,
как бы присутствует во всем,
что ночи отдано, что стало
воспоминаньем запоздалым,
раскаяньем, каленым сном?

Вот, пожирательница снов,
приходит крыса, друг подполья...
Приходит крыса, друг подполья,
к подпольну жителю, что болью
духовной мучиться готов.
И пасть, усеянна зубами,
пред ним как небо со звездами -
так совесть явится на зов.

Два уголька ручных ожгут,
мучительно впиваясь в кожу.
Мучительно впиваясь в кожу
подпольну жителю, похожу
на крысу. Два - Господень суд -
огня. Два глаза в тьме кромешной...
Что - боль укуса плоти грешной
или крысиный скрытый труд,

Когда поэту на Руси
судьба - пищать под половицей!
Судьба - пищать под половицей,
воспеть народец остролицый
с багровым отблеском. Спаси
нас, праведник! С багровым бликом
в подпольи сидя безъязыком,
как бы совсем на небеси!



Помимо суеты, где ищут первообраз,
где формула души растворена во всем,
возможно ль жить, избрав иную область
помимо суеты – песка под колесом?

Вращением – следы – искривлены ступицы,
все искажает скорость, но и с ней
ось неподвижна, сердце не струится,
и в листьях осени покой всего полней.

Всего полнее парки запустенья,
куда пустили нас, не выяснив родства
с болезненным временем, когда пусты растенья,
когда растут пустынные слова.

Но келья – не ответ, и улица – не отклик,
и ничему душа при свете не равна
помимо суеты – нестройных этих строк ли,
отчетливых слепов на мерзлой луже сна.

Возможно ль жить, не положив границы,
меж холодом и хрупкой кожей рук?
Страдательная роль певца и очевидца –
озноб души распространять вокруг.

Кто вовлечен в игру – столбами соляными
застыли при обочине шоссе,
но кто промчался – исчезает в дыме
ступицей, искривленной в колесе.

Из этих двух не выбрать виновата,
Когда я вижу:выбор совершен
Помимо них,когда изменой брата,
Как лихорадкой воздух заражен.

ВИНОГРАД

Влюбленные заключены
в полупрозрачные плоды огромных виноградин,
попарно в каждой ягоде...Всеяден
их жадный рот, и руки сплетены.
Но в городе вина - всего пьянее сны -
мерцанье радужных кругов; перетеканье пятен.

Сферические вечера.
В стеклярусных жилищах светосока
уснут любовники, обнявшись одиноко,
обвитые плушем от шеи до бедра...
Но в городе - во сне усопшего Петра
змея впивается в расширенное око.

Чем зрение не виноград?
Когда змеиное раздвоенное жало
внутри зеленых ягод задрожало,
когда вовнутрь себя вернулся взгляд -
он только и застал, что город-вертоград
растоптанной любви, копыта и канала.

Лишь остовы на островах!
Их ребры красные подобны спящим лозам,

их лица, увлажненные наркозом,
их ягоды блаженные в устах
раздавлены. Текут на мусорную землю.
Но светел шар небесного стекла,
и времени прозрачная змея
влюбленных облегла кольцом небытия.



Из брошенных кто-то, из бывших
не избран и даже не зван,
живет втихомолку на крышах
с любовью к высоким словам.

Невидим живет и неслышим,
но – как дуновенье одно...
Не им ли мы только и дышим,
когда растворяем окно?

Он – воздух, всегда безмянный,
бездумный всегда и пустой,
бумаги сырой и тумана
давно забродивший настой.

Как зябко. Не выпить ли?.. Бродит
по комнате. Листья скрипят.
Неужто же и на свободе
Душе не живется? Назад,

назад ее тянет, в лодскую,
в холодного быта петлю...
Неужто я так затоскую,
Что брошенный дом возлюблю

по выходе в небо?.. Кому-то
под крышей послышится хрип –

повешенная минута
раскачивается, растворив

багровый свой рот и огромный...
И стучаются башмаки
о краешек рамы оконной –
то – смертного сердца толчки.

Впустите же блудного сына
хотя бы в сообщество крыс,
хотя бы в клочек паутины,
что над абажуром повис!

Хотя бы вся жизнь оказалась
судорогой одной
предсмертной – но только не хаос
Вселенной, от нас остальной!

Но только не лунная мука
на площади, белой дотла,
где ни человека, ни звука,
ни даже намека, что где-то
душа по-иному жила,
чем соринкой на скатерти света...

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Художник слеп. Сорокадневный пост
сплетен, как тень висячего моста,
из черных водорослей и шершавых звезд.
Он сорок дней не разомкнет уста,
пока пустой реки не перейдет
по досточке колеблемой, пока
босой подошвой не оставит след
на зыбкой памяти прибрежного песка -
тогда и в нем прозреет память. Лет
на тысячу назад он обращает взор
и перед ним - неопалимый куст,
и образ Храма светел, как костер
среди бела дня. Но храм пока что пуст.

Краски пожухнут. Осыплется лица святых.
Что остается - свободных гиматиев складки,
стол да кувшин, да внезапное пламя в кустах,
словно бы кто промелькнул, одинокий и краткий..
Не уследят за движеньем зрачки.
Чудится, что ль, с непривычки?
Сослепу? Цурк зажигаемой спички.
Боль обожженной руки.

Два времени войдут в единый миг,
соединяясь огненным мостом
живого языка сожженных книг:
или собора с убранным крестом, -
два времени и сорок сороков
любивших братьев, плачущих сестер...
Нет, вера никогда в России не была
мгновением настоящим - но раствор,
на миг скрепивший два небытия,
где сам художник - цепкий материал -
распластан по стенам, распаду предстоя,
ведь сорок дней он губ не растворял!

И говорили Бог знает о чем и кому,
лишь бы наполнить собору пустые объемы.
Не полутьма нас пугала, но видимый сквозь полутьму
остров-кусоч штукатурки, остаток
от росписей храма.

Там языками эфирными смол
куст обращался к пророку,
стертому временем, падшему в реку,
что обтекает Шеол...

ХЕТТ

Опыт ума ограничен квадратом.
Шаром - душевный опыт.
Стеклоподобно вращается шопот,
на слухе-шнурке натяженьем расштан.

Под ноги - что за линолеум шахмат -
под ноги молча смотреть, чередуя
черное с белым и с мертвой живую
точки. О, каждый отсчитанный шаг мой,

опытом памяти ставший, в затылок
гулко стучит. И в угрюмом азарте
все города пережиты на карте -
груды окурков, осколки бутылок.

Палец, ведомый оскалом прибора,
вдоль побережья Эгейского моря,
около Смирны споткнется. Прямое
воспоминанье до Богаз-кеоя

слух доведет потихоньку дорогой
анатолийской. И в хеттских уродах
братьев признав безъязыких, безротых,
братьев по опыту тьмы многоокой, -

явственно слышу - о, что б ни читали
в неразделенном молчании знаков! -
голос, который с моим одинаков -

шароподобную ночь начертаний.

Что же поделаешь с геометризмом?
Плоский объем,ограниченный сферой,
хеттский значек на поверхности серой
принадлежавшей бездетным отчизнам,-
так отойду от своих путешествий.
И отвернусь.И быть может до смерти
глядя на стену - и только - где чертит
палец,ведомый и ведомый вместе,
чистые формы... Не думай - пиши,
точно буддийский монах, созерцаая
мыслимой линии тонкое счастье...

так я вернусь,отойду из-под власти
опыта смерти,Египта души.



Дети полукультуры,
С улыбкой живем полудетской.
Не для нас ли, сплетаясь, лепные амуры
На домах декадентских поры предсоветской

сплетничают - и лукаво
нам пальчиком тайным грозятся?
Словно дом наш - совсем не жилье, но сплошная забава.
Расползается пышно империя. Гибнет держава.
Камни держатся чудом. Подозрительно окна косятся.

Мы тоже повесим Бердслея
над чугунным, баварской работы
станом грешницы нашей, змеиноволосой пчелы Саломей,
наполняющей медом граненые комнаты-соты.

Так же пусто и дико
станет в комнатах наших. В подвалах
дома, что на Гороховой, красная брызжет гвоздика,
расплескалась по стенам... И сам губернатор, гляди-ка,
принимает гостей запоздалых.

Милорадович, душка,
генеральским звенит перезвоном
многочисленных лэстр - или это проезжая пушка
сотрясает и Троицкий мост и Дворцовый...
Церковная кружка.

На строительство Божьего храма
упала копейка с поклоном.

Так помянем усопших
в золотистом и тучном модерне!
Не о них ли в чугунных гирляндах, в усохших,
льется мед нашей памяти, мед наш вечерний...
Наших жизней, в черне пережитых полвека назад,
вьются темные пчелы – сосут почерневший фасад.

ФОРМА

Какую форму примет нелюдим
когда гостей спровадит к полуночи?
Он станет комнатой, тюрьмой многоточий,
сам для себя неуследим.

На кухню выйдя, газовой плитой
почувствует себя - и вспыхнет и согреет
змеиный чайник, или же скорее
нальется, как вода, гудящей теплотой.

Нет, книгу он раскроет, раздробясь
на праздничную множественность литер,
Но кто его прочтет, и с ним кто станет слитен?
С кем он войдет в мистическую связь?

В том-то и дело: тому, кто остался один,
лестница Якова снится, железная снится дорога -
вот он - по шпалам, по шпалам, по шпалам гоним
к точке скрещения рельс, к переменному символу Бога.
Кажется - выше и выше и выше - и вышел.
Осталось немного.
Красный кирпич. Полустанок стоит перед ним.

Он остановится. Как посох проросла
ветвь и зеленея, точка схода
двух параллельных линий. Гарь. Свобода

Оживший гравий. Дождь. Куски стекла
неотличимые от капель. Сколько глаз
из мусорной земли взирают на него!
.....
Какую форму примет он сейчас?

Озираясь, он встретится взглядом со мною.
"Нет, - я крикну ему, - нету здесь ни тебя,
ничего твоего..."

Над роялем кричал Пастернак, а не поезд.
Истаскан
всяким путем по железной дороге. Любое
с ней сравнение - застывшего сна вещество:
липнет к пальцам, подобное масляным краскам.

Да, книгу он отложит. Окунет
в небытие расслабленные кисти.
Художник - нелюдим. Вещей, движений, истин
пустынное вместилище и рот,
готовый прилепиться ко всему.
Он сам - ничто. Ему ни дара слова,
ни зренья острого, ни разума большого
природой не дано, лишь окунаться в тьму,
лишь пить и шлепать лошадиными губами
по черной нарисованной воде -
гонять форель вокзальных фонарей...
Он примет форму зала ожидания.
На рельсах - дохлой кошки. И - нигде.



Медь - воск.

Воск - прах.

Восковой человек стоит на углу,
обеими руками держит прямую свечу.

Воск - воск.

Пламя на уровне глаз.

Левый зрачок светлеет - всмотришь!

Восковой человек, цинковый гром,
глядя в разрез гиацинта.

Пламя - головка лука.

Пламя-разрез-человек.

Совсем стемнело в правом зрачке,
пора - зеленую лампу.

Восковой человек на углу горит,
полковой оркестр уходит под мост -
медного раструба хвост.

Слава уходит, военная слава!

Жареные соловьи

тянут вослед медоносные клювы свои
с ягодкой-клюквой, с горошиной в горле свистка.

Угловой человек, этот конский каштан,
этот пушкин растений и солнце славян
держит белые свечи, как пенье сверчка.

Медь - медь.

Воск - медь.

Процессия уменьшающихся лиц,

перспектива-проекция-перенос-
по клеткам с листа на лист.
Уплотнение клетчатки вперед и вдаль.
Друзья, друзья обращаются в пыль!
Церковь-луковка-плач.

И зелени есть предел, если смотришь вглубь,
в болото, в-болят-глаза. Глаукома
предвосхищает прозрение Эдипа:
только слепой в этой родине - дома,
в нем глубоко зеленеет липа,
воск его облипает со всех сторон,
весь он - черный фитиль.
И треугольное солнце высоким углом
польхает над ним!

НИМФА РЕЧИ

О нищете – где ни ищите –
ни слова. С бедным словарем
ты более всего нуждаешься в защите –
ты, воплотившаяся в женщину вдвоем
с возлюбленным, который пережил
твою любовь, ты – ужас быть одной
песчинкой, утеканьем сил...
ты – сон о море с той голубизной,
какая невозможна не во сне, –
произношенья влажная подошва,
когда ступить на землю невозможно
ни жалобу излить вовне!

Как женственна стихия речевая!
наплывы рук – и жесту обречен
язык сочувствия и врачеванья,
язык владеющий врачом!
О чем ни заикнись – уже мертво, –
о нищете, о нише, о пробеле
твердит само отсутствие... Разделим
незащищенной жизни вещество
на всех несуществующих – на них
исчерпанных двумя-тремя словами,
кому давно не до картин и книг
в ячеистых стенах существованья!

ЭДЕМ

Наторчались. А я перешел
в состоянье столба с телеграммой.
Рядом - дерево жизни, где плод восьмигранный
как бумажный фонарик зажжен.

Мы составим единство, зовомое лес:
где кустарник постелем, где моху,
где приклеится бабочка -
пыль, соразмерная вздоху, -
полудуша, полужилец...

ВИШНИ

Густовишневый, как давленных пятна
ягод на скатерти белой,
миг, обратившийся вечностью спелой,
прожитый, но возвращенный обратно!

То-то черны твои губы, черны!
Двух черенков золотая рогатка
пляшет в зубах - и минувшее сладко,
словно небывшее, где без остатка
мы, настоящие, растворены.

Мы и не жили - два шара дрожали,
винно-пурпурные брызги потока
времени-вишни раздавленной, сока
бывшего замкнутой формой вначале,
полным, но влажным подобием ока,
окаменевшего в вечной печали.

ЧЕРНИКА

"Земную жизнь пройдя до половины. "

ДАНТЕ

Земную жизнь пройдя до середины,
споткнулась память. Опрокинулся и замер
лес, погруженный в синеву.

Из опрокинутой корзины
струятся ягоды с туманными глазами,
из глаз скрываются в траву.

Черника - смерть! твой ответ голубиный
потерян в россыпях росы, неосязаем
твой привкус сырости, твой призрак наяву.

Но кровоточит мякоть сердцевины -
прилипла к небу, стала голосами
с какими в памяти раздавленной живу.

ТРИНАДЦАТЬ СТРОК

Как забитый ребенок и хищный подросток,
как теряющий разум старик,
ты построена, родина сил и господства,
и развитие твое по законам сиротства
от страданья к насилию – миг
не длиннее, чем срок человеческой жизни...
Накопленье обид родовых.
Столько яду в тяжелом твоём организме,
что без горечи, точно отвык
даже слышать – не то чтобы думать о чем-то,
кроме нескольких, горечью схваченных книг,
где ломается обруч, земля, твоего горизонта,
как паскалев тростник.

ГОБЕЛЕНЫ

Иное слово и цветные стекла.
Чужие розы витражей.
На гобеленах времени поблекла
гирлянда бледная длинноволосых фей,
засох венков. Но были бы живыми -
все не жили бы здесь,
где платьев синий пар в серо-зеленом дыме
неразличим, уходит с ветром весь...

Музейных инструментов мусикии
волноподобные тела
звучали бы для нас, как мертвые куски
когда-то цельного поющего стекла...

Как хорошо, что мир уходит в память,
но возвращается во сне
преображенным - с побелевшими губами
и голосом, подобным тишине.

Как хорошо, как тихо и просторно
частицей медленной волны
существовать не здесь - но в море иллюзорном,
каким, живые, мы окружены.

Когда фабричных труб горюют кипарисы,
в зеленых лужицах вяжась,
весь город облаков, разросшийся и сизый, -
вот остров мой и родина и власть.

И связь моя чем призрачней, тем крепче,
чем протяженной – тем сильней...
К тому клонится слух, что еле слышно шепчет, –
к молчанию времен, каналов и камней.

К тому клонится дух, чьи выцветшие нити
связуют паутиной голубой
и трепет бабочки, и механизм событий,
войну и лютню, ветер и гобой.

Так бесконечно жизнь подобна коридору,
где шторы темные шпалер
скрывают Божий мир, необходимый взору...
Да что за окнами? простенок ли? барьер?

Лишь приблизительные бледные созданья,
колеблемые воздухом своим,
по стенам движутся – лишь мука ожиданья
разлуку с нами скрашивает им.

Так бесконечно жизнь подобна перемене
застывших туч или холмов,
длинноволосых фей, упавших на колени
над кубиками черствыми домов...

Так хорошо, что радость узнаванья
тоску утраты оживит,
что невозвратный свет любви и любованья
когда не существует – предстоит.

КАТЕГОРИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ

В тихом, еле заметном позоре
каждодневного долженствования
как бы нежился Кант, если б не жило плоское море
с плоским небом – две части коробочки-зданья!

В этом страннопримном дому
уподобился шкафу мой дух, уподобился шкафу
в двух кварталах от ратуши, с видом на склад и тюрьму,
с точным ходом часов или холодом точных метафор!

Что я должен? кому задолжал и когда?
Точно чайка вдоль серого пирса, вдоль мола,
точно в каменных складках вода –
бесконечный прообраз бетонного пола
убегая, стоят.

Вот пакгауз просторен и пуст
пахнет плесенью бывшего хлеба и йодом
бывшей крови, что змейкой из мраморных уст
истекает на свет, на свободу.

Запрокинутый мой подбородок лежит над водой,
и волна его лижет, и брызги – народец веселый –
разноцветной взлетают толпой.

О, разбиться бы в праздник об угол, о глыбу, о голый
выступ суши! расплющенной каплей сползти
по губам синемраморной Балтики... с горсточкой соли,

оседавшей кристаллами города, —
горсточкой соли в горсти
Кант выходит из дому, всеневную тяжесть нести
с потаенной свободой воли.

Мимо ратуши. Мимо дворцовой ограды.
Мимо тортообразного замка на бледном лице,
вдоль портовых строений, тюрьмы,
циклопических ног эстакады,
волнореза бегущего с черной фигуркой в конце.

Вот и смерть недалеко. Пустой и просторный пакгауз.
Заржавелые кричья. Кому я и что задолжал?
Камни, волны и камни. По камням бегу — задыхаюсь.
Всыпается соль из ладони. Кренится барочный портал,
оседает на мокрый песок, оседает
лоскутами и пятнами пены...
И в холодных глазах лишь пустынное небо витает,
лишь холодное море и голые стены.



Строят бомбоубежища.
Посередине дворов
бетонные домики в рост человека
выросли вместе со мной.

Страх успокоится, сердце утешится,
станет надежнее кров.
ляжет, как луг, угловая аптека -
зазеленеет весной.

Шалфей и тысячелистники -
ворох лечебных трав,
пахнущих городом, пахнущих домом подземным,
принесет завтрашний день.

И отворятся бетонные лестницы
в залитых асфальтом дворах...
Мы спускаемся вниз по ступенькам спасения,
медленно сходим под сень

гигантских цветов асфоделей,
тюльпанов, сажи и тьмы...

Бункер, метро или щель -
Прекрасен, прекрасен уготованный дом!

ПЕТЕРБУРГ

какой суэт повсюду петербург!
в какую глушь мыслительную тянет
унылых горожан
и ложносельской повести уют
и царкосельская природа платяная
и философский жанр!

и все это с гримасой отвращенья
при поэтическом и нравственном огне
исканье родины как поиск помещенья
или угла незримого извне
но это все лицо без выраженья
затылок на лице и солнышко в окне
грубейшей рифмой крепкой как вода
при утреннике треснувшая
наглой

и жесткой связью
связует лица зимняя звезда
концами строк срастаясь навсегда
растет строфа советского согласия

и все это с гримасой отвращенья
погромщику мерещится масон
и символического черепа ощерье
и чужеродный заговор племен

и страх Земли как поиск помещенья
где смертный после смерти помещен
я стал свидетелем возобновленья почв
периода крестьянской прозы
лесолюбивых дач
какие птицы украшают ночь!
какие освещают нас березы!
смотри, смотри - светло
смотри - светло вокруг
светло как ни смотри
ни закрывай лицо
ни радуйся ни плач!

ПОРА НЕСОЧИНИТЕЛЬНОСТИ

пора, мой друг...

пора несочинительства. напрасно
в лучах громopodobного молчанья
свеча болтливая потрескивая гасла
и требовал читатель окончанья

истории - в часы несочиненья
когда я только то, что пред моими
глазами, и ни действие, ни имя
не замутняют глубь воображенья

в часы, не сочиненные так сочно
чтобы висеть плотнее настоящих,
но в самые худые из пропавших
где существуешь разве что заочно, -

суда нисходит бог литературный
с хрустальным яблоком, с ледовым виноградом
с игрушечным и ясным ленинградом
в утробе сферы бесфигурной

ЯЩИК

Тюрьма дворца. Счастливы ли ящик.
Звенит ли воздух настоящий,
процеживаемый сквозь решетки,
сквозь выцветшее серебро?
Звучит ли в памяти короткий
удар – и капля о ведро,
приставленное к водостоку,
споткнулась... Я не знаю слез
больнее паузы небесной.

Музей и ящик бесполезный,
все умерло, а ты возрос!
Но редок воздух настоящий,
смотри насквозь его, насквозь, –
и зренья чище и жесточе
предутренняя область ночи,
где зренья зреньем прервалось.
Я вижу сердцем осязанья
сухими нитками холста
не внешнее и не чужое зданье,
а ткань шершавую – уничтоженья ткани
у губ, слагаемых в уста.

Дворец-тюрьма, дворец небесный!
Музей и узник бестелесный

и только воздух, повторяя
малейшее твое движенье
стоит, как Матерь Всеблагая,
у изголовья и прощенья.

ТАВРИЧЕСКИЙ САД ЗИМОЙ

отчаянье честней – тесней чего?
отчаянье честнее, говорю
чем зрительное волшебство
и луг во слуховом раю

два голоса? – но здесь не диалог
ты слышишь, милая, передо мною луг
открытый снегу легкому у ног
сквозному инею у разветвленных рук

когда умолк древесный человек
он видимым молчанием молчит
как празднично потрескивает снег
как россыпью крупичатой блестит

перед пустым Таврическим дворцом!
и одинокой мысли теснота
меня прижмет негреющим лицом
к мохнатой наледи стекольного листа

тогда отчаянье
и комнаты твоей почти что ученический пенал
обнимутся, но глуше и тесней,
чем все, что я когда-то обнимал

земная школа, сделавшая нас
беспомощными слушать и смотреть,

стоит в ушах или нейдет из глаз -
не говорить бы мне, но умереть

для разговора о земной любви!
эротика, русалочья на треть
на две оставшихся - во снеге и крови,
как рыболовная опутывает сеть

оранжерею воли речевой -
Дворец Таврический и выставку цветов
и, видит Бог, люблю тебя, но твой
стеклянен взгляд и холоден отлов

одно отчаянье и сталкивает здесь
в одной и той же комнате, и ты
вдруг оживляешься, ты вся. Ты вся! Ты - весь!
зимой расцветшие цветы.

ОБРЯД ПРОЩАНИЯ

Обряд прощания.Стеклянного дворца
текут под солнцем тающие стены
Все меньше нас,все тоньше перемены
в погоде и в чертах лица.

Я вынужден принять условия игры
И тактику условного пейзажа.
Почти не осязаемая пропажа,
но память задает прощальные пиры

С красотью,настолько явной,что
бессильны обвинения в безвкусьи,
воссоздается мир,куда вернусь я,
не сняв сапог,не расстегнув пальто.

Витиеватый парк.Ограда.Жар холмов
и пиршественный стол длинной до горизонта,
где синий город облачного фронта
или далеких гор истаявший дымок.

Итак,мотив прощанья окружен
приличествующим - и даже слишком - фоном,
Но стол уставлен звяканьем и звоном
невидимых стаканов.Но смешон

обычный жест:округлая ладонь,
Приподнят локоть.Воздух полусогнут.
Цилиндрик пустоты сжимают пальцы.Дрогнут,
как декорация,едва их только тронь.

Фанерные деревья чуть задень,
на луг досчатый валятся со стуком,
и холм уходит,пожираем локком,
и пиршественный стол скрипя втекает в тень.



Я не услышу чтение Мандельштама
в амфитеатре Тенишевки. Сцена
лицейской клэкви обвита
и Царскосельский парк построенный из хлама
и Пушкин бегающий среди реквизита
в шинелишке полувоенной

цитаты имена и атрибуты
какой-то истопник - лицо народа
с любовью обращенное к поэту
народному - и все они забыты!
я помню только пропадение света
перед началом действия, как будто

мне выключили память поворотом
эбеновой и теплой рукоятки
и я не слышал как рукоплескали
пока царила целую минуту
сплошная темнота в небывшем зале
пока прожектор бившийся в припадке

выхватывал из хаоса и грима
то красный воротник - частицу флага
то царский вензель в уголке обшлага



на крапчатые веретенца
иссиня угольных скворцов
намотана пряжа весеннего солнца
косые сквозные лучи

и стрекотно-тонкою тканью темнот
покрываются первые травы
и скворец говорящий двуглавый
неслышно и молча крыла разомкнет

и вот мы одеты в одежду молчанья
мы – всякая речь на прутиных ногах
раскачиваемся не замечая
скрипучего скворчества в черных кустах

возни гнездованья ткацкого схлеста
здесь ночь одевают здесь день золотят
здесь ни созерцания ни бесприродства
ни полукультурной оглядки назад

но утро исходит из птичьей работы
в любое мгновение даже в ночи
и складки и гребни и водовороты
и яркая тяжесть церковной парчи

ПАМЯТИ ШОСТАКОВИЧА

неправильная музыка в костях
ее неплодоносный фосфор
хотя глаза холодные блестят
и по губам безгубым как по доскам
босое пламя пятками стучит

как заживо досчатое растение
жил музыкант рожденный после всей
существовавшей музыки – при сцене
из оперы глухонемой
он декорация он дерево для пенья
кукушки узницы стенной

и ходики устроены как дача
как дом уединенья и работы
над истерическим скрипичным кругом плача
в отмереном квадрате временной
тюремно кукольной природы



стена уходящая в море
башня с огромным флагом
дым вылезает из пушки
атласный облак
О, мир материи, свет ниспадающей ткани!
задрапированы люди, животные, птицы,
парусники на рейде салютуют
и флаги стоят неподвижно
в трубчатых складках...
стена удаляется в море
превращается в башню
у подножья которой
нездешняя плесень
О, волны материи, вечно-зеленой,
золотистой, солнечной, лунно
покрывают, окутывают, бинтуют
носят
голое тело смерти, болезни, любви
и рожденья,
тело мысли прекрасной в оружейных жилках,
в трубчатых складках...
стена в сиреновой дымке
башня размыта в тумане
флаг невидим но слышно
хлопанье ткани
О, свет, спеленутый светлым подобием света,
гром орудий, заглушенный ударом волны
о широкую лестницу, чьи соскользнули ступени
под воду – и усеяли рваные цифры
яркую кожу морскую!



Когда придет пора менять названья
центральных площадей,
и воздуха единственное знамя
живыми складками пойдет –
какие люди явятся тогда?
какой народ?

Болотный край – утопия в разливе,
и острая трава
торчит воинственной и сиротливой,
чем адмиральский шпигель,
полузатопленные острова –
следы цивилизации морской,
развалины земных столиц.

Когда оно придет – какое выраженье
запечатлеется на всех
спешащих, кашляющих, кутающих шею,
опаздывающих ко звонку?
Подъем воды?
Переворот правленья?
Но общий неподъемный грех,
как новоспущенный корабль
скрежешет днищем по песку.

БОГ ПОГРЕБЕННЫЙ

Бог погребенный – Бог воскрес,
и в серый день послепасхальный
с неисторических небес
Его схождение печально.

и мы окрашены во цвет
Его неимоверной грусти
о нас, которых больше нет,
нет ни в природе, ни в искусстве.

зачем же робкая растет
улыбка мира и согласья
из трещин, выбоин, пустот,
из хаоса и безобразья.

и жаль – но сведены ко дням
страдания и воскресения
года, отпущенные нам
не для старенья – во спасение.



Что – натуральный мед в устах пророка,
то горше молодой полыни
в ушах моих, в открывшейся картине:
в лиловых шорохах полупустыни
в зарницах светового шока
лежит парализованная степь.

когда бы так... но медленней упадок:
не опустенье – перенасыщенье
опустошает сердце. Опустев,
оно подобно улью, помещенью,
где непрерывный гул мучителен и сладок,
где в тысячах полуживых лампадок
истаивает красный воск –

когда бы так... но вся в электросвечках
сияет церковь изнутри,
одушевленные толпятся фонари,
и смерть – не здесь, хотя иных уж нет,
а те, наверное, далече
от медленной старославянской речи,
от медленных старообразных лет,
от медного пророческого меда...

когда бы так!



Кто защитит народ, не взывающий к Богу
непрестанно
о защите себя от себя же,
если ползут из тумана
болота
и кусты высыпают на слишком прямую дорогу -
кто же расскажет
в именах и событиях
историю этого плоского блюда
с вертикальной березой
над железной дорогой,
над насыпью желтоволосой
в небе красного чуда?

снова стянуты к западу
сизые, длинные тучи
и круглое солнце над ними,
Здесь на сотни поселков - одна синева
и плывучий
гул, одно непрерывное Имя
для картофельной почвы,
сплошная вибрация, Боже!
Или силы подземной
напрягаются мускулы,
и на холмах бездорожья
вырастают вечерние синие стены,

даль, открытую сердцу,
замыкая в единый
щит невидимый, в незащитимый
диск печали...



Среди раздавленных жизнью,
изъеденных мелкой заботой,
среди издыхающих от нелюбви,
чем я отмечен, говно из говна, желторотый
головоногий птенец?

И невидимые соловьи

зачем окружают меня,
прогибая и пеня пространство?
Урождена не про нас красота
призрачнорожих,
распластанных ночью как паста
на простыне унижения,
в окнах прямого креста.

вогнутый, вдавленный силою
в клетку грудную,
что я за щebet во мне?

Голос не слышен -
и льется во щель звуковую,
падая в руки,
угадываемые не вполне.

Или явление Христа
отменило поэзию во слове?
Тело воскресшее
стало звучаньем родным

среди старух,
 обезумевших от нелюбови,
и привокзальных пьянчуг,
 опаленных сияньем стальным?
Что же - обломок язычества,
 житель советского лимба,
не отличимый от них
 ни одеждой, ни кругом судьбы -
я не возвышу свой голос,
 и не зазвучу, как пылинка
в раструбе Страшной трубы?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Беловолнистая штора. Повсюду рассеянный свет
слабо шевелится – тихо – воистину тихо
и тишина расступается, словно бы книга раскрыта:
до горизонта степная дорога, а дальше

долгоживущая полуживая гвоздика,
умерший, но говорящий поэт,
выше доступного слушанью крика;

переступив пограничный фальцет,
слух очищается от ощущения фальши –
чистый полет ультразвука.

Книга стихов перелистана, брошена,
 снова раскрыта –
как ненадолго пронзает затишье т слабо!
Шороха власти достаточно
 для уменьшенья масштаба,
до смертоносного тела, до смертного быта.



СОДЕРЖАНИЕ

В.Бетаки. Поколение "Тайной свободы"стр. 5

С Т И Х И

Пью вино архаизмов	9
Крыса.	12
Помимо суеты...	14
Виноград.	16
Из брошенных кто-то, из бывших.	18
Неопалимая Купина.	20
Хетт.	22
Дети полукультуры...	24
Форма.	26
Медь - воск...	28
Нимфа речи.	30
Эдем.	31
Вишни.	32
Черника.	33
Тринадцать строк.	34
Гобелены.	35
Категорический императив.	37
Строят бомбоубежища...	39
Петербург.	40
Пора несочинительства.	42

Ящик.	43
Таврический сад зимой.	45
Обряд прощания.	47
Я не услышу чтение Мандельштама... ..	49
На крапчатые веретенца... ..	50
Памяти Шостаковича.	51
Когда придет пора менять названья... ..	53
Бог погребенный.	54
Что - натуральный мед в устах пророка... ..	55
Кто защитит народ... ..	56
Среди раздавленных жизнью... ..	58
Заключение.	60

Виктор Борисович Кривулин

С Т И Х И . .

Издательство "РИТМ"

Серия

"Библиотека современного поэта"

Редактор В.Бетаки.

Париж 1982 год.

4 rue Michel Vignaud,
92 360, Meudon-la-Forêt ,
France.

БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
ПОЭТА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ



Виолетта Иверни. СТИХИ

Елена Игнатова. СТИХИ О ПРИЧАСТНОСТИ
РОССИИ СМЕЕТСЯ НАД СССР (сост. А. Вернер)

Василий Бетаки. ЕВРОПА-ОСТРОВ

Виктор Кривулин СТИХИ

Готовятся к печати:

Зоя Афанасьева МЕТРОПОЛИЯ

Вера Френкель ДОЖДИ (посмертное издание)

Лев Друскин ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Редьярд Киплинг ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

(с параллельными текстами по-русски
и по-английски.)

Герман Плисецкий СТИХИ

Р И Т М